



**борис
ЧИЧИБАВИН**

сияние снегов

Борис Алексеевич Чичибабин

Сияние снегов (сборник)

Серия «Поэтическая
библиотека (Время)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9747403

Сияние снегов: Время; Москва; 2015

ISBN 978-5-9691-1379-4

Аннотация

Борис Чичибабин – поэт сложной и богатой стиховой культуры, вобравшей лучшие традиции русской поэзии, в произведениях органично переплелись философская, гражданская, любовная и пейзажная лирика. Его творчество, отразившее трагический путь общества, несет отпечаток внутренней свободы и нравственного поиска. Современники называли его «поэтом оголенного нравственного чувства, неистового стихийного напора, бунтарем и печальником, правдоискателем и потрясателем основ» (М. Богославский), поэтом «оркестрового звучания» (М. Копелиович), «неистовым праведником-воином» (Евг. Евтушенко). В сборник «Сияние снегов» вошла книга «Колокол», за которую Б. Чичибабин был удостоен Государственной премии СССР (1990). Также

представлены подборки стихотворений разных лет из других изданий, составленные вдовой поэта Л. С. Карась-Чичибабиной.

Содержание

Евгений Евтушенко	7
Колокол	15
Молитва	15
«Кончусь, останусь жив ли...»	17
Махорка	18
Федор Достоевский	20
«До гроба страсти не избуду...»	22
Народу еврейскому	24
Крымские прогулки	26
«Клубится кладбищенский сумрак...»	32
Пастернаку	34
«Живем – и чёрта ль нам в покое?..»	37
Клянусь на знамени веселом	39
«Я слишком долго начинался...»	42
Верблюд	45
«Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели...»	47
«Как стали дни мои тихи...»	49
«Меня одолевает острое...»	52
«Когда с тобою пьют...»	54
«Вся соль из глаз повытекала...»	56
«Колокола голубизне...»	59
«Весна – одно, а оттепель – иное...»	60

«Нам стали говорить друзья...»	61
«Живу на даче. Жизнь чудна...»	62
«Когда трава дождем сечется...»	64
«Не брат с сестрой, не с другом друг...»	66
«Уходит в ночь мой траурный трамвай...»	67
«И вижу зло, и слышу плач...»	69
«Тебя со мной попутал бес...»	71
«В январе на улицах вода...»	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Борис Чичибабин

Сияние снегов (сборник)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)

© Борис Чичибабин, наследники, 2015

© Лилия Чичибабина-Карась, составление, 2015

© «Время», 2015

* * *

Евгений Евтушенко

Учивший кротостью и мощью (Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)

В 1959 году, когда я впервые собрался в Харьков, Борис Слуцкий, сам харьковчанин, сказал мне, что первый человек, с кем я должен там познакомиться, – это Чичибабин, и в подкрепление своих слов прочел его четыре строки:

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

В них была та необъяснимость, которая и есть поэзия.

Тогдашний студент театрального училища Сережа Новожилов, ныне петербуржец, народный артист России, помог мне в первый же день разыскать дышавший на ладан домишко на Рымарской с водопроводной колонкой во дворе. Мы поднимались по деревянной лестнице, ведущей, похоже, на чердак. Шли на песню, раздававшуюся сверху под гитарные струны. Дверь не была заперта. За столом, на котором стояли полупустая бутылка водки, банка килек и пара гра-

ненных стаканов, сидели двое: тот, что с гитарой, – помоложе, другой – постарше, худущий, изможденный, из чьих глаз на меня полыхнула жгучая синева. В нем я сразу признал Чичибабина. Мы раньше не встречались, но и он догадался, кто я, приложил палец к губам, чтобы не прерывать песню, подвинул нам с Сережей по табурету и тихонечко плеснул остатки водки в чайные чашки. Когда песня кончилась, крепко пожал мне руку своей костистой сильной рукой лагерного землекопа.

– Ну, здравствуй, Евтушенко.

Парень с гитарой, угольно косматый, с такими же угольными глазами, представился кратко: «Пугачев», словно вынырнул из метельного месива «Капитанской дочери», затем добавил: «Леша», – и продолжил пение собственных, надо сказать, отчаянно удалых песен. А потом Чичибабин командовал:

– Ну, теперь читай, Евтушенко.

И впился в меня недоверчивым пронзительным взглядом, словно выпытывал: что ты за человек и способен ли ты выдержать славу, которая на тебя свалилась?

Одно никак не сопрягалось с его могучими глазами, с его буйной не по возрасту копной волос: он был одет во все советско-усредненное, учрежденческое, нечто заготзерновское, жэковское, счетоводческое, как будто его насильно запихнули в эту смирительную одежонку. Потом я узнал, что он на самом деле работает в конторе грузового автопарка.

А когда он начал читать стихи, расправив плечи и наполнившись неизвестно откуда взявшейся мощью, в нем проглянуло что-то древнерусское, что-то от вольных новгородцев, собиравшихся на вече. Он читал, рубя голосом ритм, а ладонью воздух:

Как будто дело всё в убитых,
в безвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.

Стихи звучали как анафема, заклинание, клятва. Я не мог оторвать глаз от него, совершенно замороженный, а когда пришел в себя, то увидел, что комнатенка наполнилась людьми, явившимися на его голос, как на звук набатного колокола. Помню прекрасную исполнительницу стихов преподавательницу Сашу Лесникову, будущего режиссера Валью Ивченко, который подарил мне из своего рассказа изумительную строчку «Крокодил, потрескавшийся от обид», поэта Марка Богославского, художников, студентов, ученых, инженеров. В Харькове голос Чичибабина будил совесть. Ранним утром меня провожала в гостиницу целая толпа «чичибабинцев». Они и спасали его своей любовью, когда ему

приходилось худо.

Отслужив во время войны три года в авиачастях Закавказского военного округа, в 1946 году студент-филолог Борис Чичибабин сел на пять лет за «антисоветскую агитацию». По тем временам, как он сам выразился, срок был смехотворным, хотя отбывал его Борис не где-нибудь, а в Вятлаге. После отсидки о филологии нечего было думать. Пришлось заканчивать курсы бухгалтеров, тогда эта профессия не была такой заманчивой, как сейчас.

В 1963 году все-таки вышла его первая, сильно общипанная цензурой книжка в Москве, а потом три таких же в Харькове. В 1966-м его приняли в Союз писателей. Но цензуранная жизнь была не по нему. В Чичибабине все круче замешивался, по его слову, «притворившийся смирением мятеж». Его стихи о Достоевском читаются как собственный дневник поэта:

Все осталось. Ничего не зажилó.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достаётся Достоевскому Россия.

Когда пошли чередой диссидентские процессы, он места себе не находил, чувствуя и себя виноватым во всех жестокостях, происходящих при нем.

Живу на даче. Жизнь чудна.

Свое повидло...

А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг, –
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Чичибабин выбрал не самооправдание, а покаяние:

И вижу зло, и слышу плач,
и убегая, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.

<...>

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог и
раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

Так осудить самого себя куда труднее, чем обвинять власть, да еще на уютной кухне, как в нашем традиционном домашнем гайд-парке. Мало кто набрался мужества высказаться о себе с такой беспощадностью, как Чичибабин:

Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрисч,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

И в то время как он неувеличивающе каялся перед самой высокой инстанцией на свете, какие-то жалкие партийные инстанции требовали, чтобы он покаялся за ощущение безысходности, за сочувствие тем, кто был вынужден уезжать с Родины без обратного билета, за стихи о «воровских» похоронах Твардовского, на которые пускали «по талонам». Не дождавшись, Чичибабина исключили из Союза писателей. Но с ним уже была Лиля Карась, писавшая такие стихи: «Как немые, мычали мы в рамы двойные». Именно она стала для Бориса и любовью на всю жизнь, и вернейшим другом. Нашелся прекрасный человек, начальник отдела в трамвайно-троллейбусном управлении Иван Федорович Светлов, взявший опального поэта на работу, а ведь милосердие к неблагонадежным было наказуемо.

Кто-то очень точно сказал: «Советская власть лицемерно преследовала Чичибабина за все те принципы, которые сама же провозглашала». Добавлю: поэтому она и развалилась

вместе с Советским Союзом. А «антисоветский» Чичибабин переживал это как трагедию народов и свою личную.

Он написал о колоколе: «В нем кротость и мощь». Именно эти два колокольные качества, слитые в одно, и есть его нечаянное самоопределение. Кротость – в перенесении страданий, мощь – в их преодолении.

Чичибабин был праведник, но неистовый праведник-воин, прячущий под кажущимся многотерпением нечто аввакумовское. Он был враг любых сговоров, в том числе и со своей совестью. Если жить по стихам Чичибабина, то подавление свободы, глумление над людьми станет невозможным. Чисто по-человечески он был лучшим из всех поэтов, из всех, кого я встречал, а может быть, даже лучшим человеком из всех людей.

В 1989 году харьковчане выдвинули меня в народные депутаты СССР, и я выступал в этом давно полюбившемся мне городе у памятника Пушкину, рядом с книжным магазином «Поэзия». Люди затопили площадь, в их глазах было ожидание чего-то важного, что должно произойти в стране и со всеми нами. Мне передали, что Борис обещал прийти и поддержать меня, но в это было трудно поверить, потому что он вообще сторонился политической публичности. И вдруг кто-то шепнул: «Чичибабин здесь». Я оглянулся и снова увидел этого человека, перед которым толпа уважительно старалась расступиться, что было не так-то просто. Из-под густых, теперь уже седых бровей так же, как трид-

цать лет назад, когда мы познакомились, глаза полыхали той же жгучей невыцветшей синевой – глаза гусяря и монаха, подпоясанного, однако, невидимым мечом. Я попросил Чичибабина прочесть стихи, и, пока харьковчане аплодировали, радуясь его появлению, он неловко вытискивался из толчеи и шел по единственно свободному месту – по краю клумбы, стараясь не повредить цветов, оступаясь в жирном черноземе и держа в руках захваченную из дому кошелку. Но и с этой кошелкой, и с этой неуклюжей застенчивой походкой он был совершенно естествен возле Пушкина.

Колокол

*«Колокол» – это по-настоящему моя
единственная книга...*

Борис Чичибабин, 1993

Молитва

Не подари мне легкой доли,
в дороге друга, сна в ночи.
Сожги мозолями ладони,
к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,
и дай мне горечи в любви,
и в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,

но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,
сними заклятие с меня
и защиты мою щетину
от неразумного огня.

(1963–1964)¹

¹ В скобках указаны приблизительные даты.

«Кончусь, останусь жив ли...»

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

Махорка

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся сигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметя и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска –
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

Федор Достоевский

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвались лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже – свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, –
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется – в пене рот, глаза навывате, –
все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, –
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь – в глаза ему, в лицо ему – метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажилó.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

1962

«До гроба страсти не избуду...»

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.

Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возвращивался в тюрьмах,
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.

На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,

а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.

Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылезит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вожжами грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаимправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

Народу еврейскому

Был бы я моложе – не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», –
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, –
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа – цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, –
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала

Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, –
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

1946

Крымские прогулки

Колонизаторам – крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины...
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?

Люди на пляж, я – с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» – спрашивал,
все я татар искал.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, – кричал, – татары?».
Нет никаких татар.

А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, зная, мешая
зарей во всю щеку,

была сестра меньшая
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами, небось, припевали:
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.

Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской

ни одного татарина.
Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, –
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное:
«Дай, – думает, – повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви, –
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня – не политика.
У меня – этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.

Умершим – не подняться,
не добудиться умерших...
но чтоб целую нацию –
это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.

А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,
в огне трепещи,
новый Радищев –
гнев и печаль?

«Клубится кладбищенский сумрак...»

Клубится кладбищенский сумрак.
У смерти хороший улов.
Никто нам не скажет разумных,
простых и напутственных слов.

Зачем про веселье узнал я,
коль ужас мой ум холодит?
Поэты уходят в изгнание,
а с нами одни холуи.

О, как нам жилось и бродилось
под русским снежком по зиме...
Смешная девчонка Правдивость,
ты есть ли еще на земле?

Да разве расскажет писатель
про тайны лукавых кулис,
что кесари наши пузаты
и главный их козырь – корысть?

Висит календарь наш без мая,
у кисти безумны мазки,
и девочки глушат, и смелят,
и кроют беду по-мужски.

Воробжит ли стая воронья,
пороша ль метет на душе, —
художник бежит от здоровья,
от нежности и кутежей.

При жизни сто раз умиравший,
он слышит шаги за спиной:
то снова наводит мурашки
жестокости взор жестяной.

Теперь не в ходу озорные, —
кому отливать перепуг,
когда Пастернака зарыли
и скоро помрет Эренбург?

Бродяга и шут из Ламанчи,
кто нес на мече доброту,
все ребра о жизнь изломавши,
дал дуба и где-то протух...

Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть...

Пастернаку

Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода,
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
– Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

1962

«Живем – и чёрта ль нам в покое?..»

Живем – и чёрта ль нам в покое?
Но иногда, по временам,
с устатку что-нибудь такое
приходит в голову и нам.

Что проку добрым быть и честным,
искать начала и концы,
когда и мы в свой срок исчезнем,
как исчезают подлецы,

когда и нам закроют веки
и нас на кладбище свезут?
Но есть же совесть в человеке
и творчества веселый зуд.

Есть та особенная сила,
что нам с рожденья привита,
чтоб нашу плоть нужда месила,
чтоб дух ковала клевета.

И огонь прожег пяты босые,
когда и мне настал черед
поверить в то, что я – Россия –
земля, вода и сам народ.

В меня палили вражьи пушки,
меня ссылали в Соловки,
в моей душе Толстой и Пушкин
как золотые колобки.

Я грелся в зимние заносы
у Революции костров,
и на меня писал доносы
Парис Жуаныч Котелков.

В беде, в безвестности, в опале,
в глухой дали от милых глаз
мои тревоги не пропали,
моя держава сбереглась.

И вот – живу, пытаю душу,
готовлю душу к платежу
и прозаическую стужу
стихами жаркими стыжу.

1964

Клянусь на знамени веселом

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север.
А разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, –

не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове –
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?

У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, –
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадь не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

«Я слишком долго начинался...»

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную пруть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь, и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых —
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о камень,
и сам согбен, как аксакал.
Меня молодые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим,
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

1965

Верблюд

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет – и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее волюют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него – от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, –
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел – ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

1964

«Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели...»

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там у синего моря цветы на камнях розовели
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,
мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда!».
Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну чего ты?» –
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высях
над просоленной галькой – обломышем древних пород...
Я от кривды устал, я от горнего голода высох,
не смеются глаза, и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя – хоть на край, хоть на день, хоть
на час мы.

Ну-ка платьё надень, ну-ка ношу на камни свали –

и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в смеющейся влаге утопим тревоги свои...

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,
черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало, от стуж коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

1966

«Как стали дни мои тихи...»

Как стали дни мои тихи...
Какая жалость!
Не в масть поре мои стихи,
как оказалось.

Для жизни надобно служить
и петь «тарам-там», –
а как хотелось бы прожить
одним талантом.

Махну, подумавши, рукой:
довольно бредней, –
не я единственный такой,
не я последний.

Добро ль, чтоб голос мой гремел,
была б охота,
а вкалывал бы, например,
безмолвный кто-то?

Всему живому друг и брат
под русским небом,
я лучше у церковных врат –
за нищим хлебом.

Пускай стихам моим пропасть,
без славы лягнув, –
зато, веселым, что им власть
мирских соблазнов?

О, что им, вольным, взор тупой,
корысть и похоть,
тщеславье тех, кто нас с тобой
берет под ноготь?

Моя безвестная родня,
простые души,
не отнимайте у меня
нужды и стужи.

В полдневный жар, в полночный мрак,
строкой звуча в них,
я никому из вас не враг
и не начальник.

Чердак поэта – чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.

Россия – это не моря,
леса, долины.
С ее душой душа моя
неразделимы.

1965

«Меня одолевает острое...»

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя – как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.

Никто – ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я – просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

1966

«Когда с тобою пьют...»

Когда с тобою пьют,
не разберешь по роже,
кто – прихвостень и плут,
кто – попросту хороший.

Мне все друзья святы.
Я радуюсь, однако,
учуяв, что и ты
из паствы Пастернака.

Но мне важней втройне
в разгаре битв заветных,
на чьей ты стороне –
богатых или бедных.

Пусть муза и умрет,
блаженствуя и мучась,
но только б за народ,
а не за власть имущих.

Увы, мой стяг – мой стих,
нам абсолютно плохо:
не узнаёт своих
безумная эпоха.

1964

«Вся соль из глаз повытекала...»

Вся соль из глаз повытекала,
безумьем волос шевеля,
во славу вам, политиканы,
вам, физики, вам, шулера.

Спасая мир от милой дури,
круты вы были и мудры.
Не то что мы – спиртягу дули
да умирали от муры.

Выходят боком эти граммы.
Пока мы их хлестали всласть,
вы исчисляли интегралы
и завоевывали власть.

Владыками, а не гостями
хватали время под уздцы, –
подготовители восстаний
и открыватели вакцин.

Вы сделали достойный вывод,
что эти славные дела
людское племя осчастливят,
на ложь накинута удила.

По белу свету телепаясь,
брэнча, как битая бутылка,
сомненья списаны в утиль,
да здравствует утилитарность!

А я, дивясь на эту жуть,
тянусь поджечь ее сигаркой,
вступаю в заговор цыганский,
зову пророков к мятежу.

О чары чертовых чернильниц
с полуночи и до шести!..
А вы тем временем женились
на тех, кто мог бы мир спасти.

Не доверяйте нашим лирам:
отпетым нечего терять.
Простите, что с суконным рылом
втемяшился в калашный ряд.

Но я не в школах образован,
а больше в спорах да в гульбе.
Вы – доктора, а я – плебей,
и мне плевать на все резоны.

Пойду мальчишкой через век
сухой и жаркою стернею.
Мне нужен Бог и Человек.
Себе оставьте остальное.

(1964)

«Колокола голубизне...»

Колокола голубизне
рокочат медленную кару,
пойду по желтому пожару,
на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,
а ты и пикнуть не посмей.
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,
так вечно косное и злое,
как будто все в меня весною
вонзает пышные шипы.

Я, как бессонница, духовен
и беззащитен, как во сне.
Пойду пожалуюсь весне
на то, что холод не уходит.

1965

«Весна – одно, а оттепель – иное...»

Весна – одно, а оттепель – иное:
сырая грязь, туманов серый дым,
слабеет лед, как зуб, крошась и ноя,
да жалкий дождь трещит на все лады.

Ее приметы сумрачны и зыбки,
в ее теплыни холод затаен,
и снег – не снег, и тает по ошибке,
да жалкий дождь клубится сатаной.

Все планы – в прах, все вымыслы повибрось,
не доверяй минутному теплу.
Куда ни глянь – всё мокрота да рыхлость,
да жалкий дождь стекает по стеклу.

И мы хмелеем, даром что тверёзы,
разинув рты на слякотную хмарь,
но молча ждут мордастые морозы
да жалкий дождь бубнит, как пономарь.

«Нам стали говорить друзья...»

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.

Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что валят прямо и тайком
на времена и на райком,

окончат шуткой неудачной –
и вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

1963

«Живу на даче. Жизнь чудна...»

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг, –
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг – то лютый зверь,
что друг – то робот.

Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй, –
мы все привычную стезей
проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.

Что льда у лета, доброты
просить у женщин.

Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу, –
принять бы яду натошак,
принять бы яду.

И ты, любовь моя, и ты –
ладони, губы ль –
от повседневной маеты
идешь на убыль.

Как смертью веки сведены,
как смертью – веки,
так все живем на свете мы
в двадцатом веке.

Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
– Бросайте всё! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!

1966

«Когда трава дождем сечется...»

Когда трава дождем сечется
и у берез стволы сочатся,
одна судьба у пугачевца –
на виселице покачаться.

И мы качаемся, босые,
в полях обшмыганных и черных.
О нас печалится Россия
очами синими девчонок.

А ночь на Русь упала чадом,
и птицу-голову – на жердь вы,
хоть на плечах у палача там
она такая ж, как у жертвы.

А борода его смеется,
дымящаяся и живая,
от казака до инородца
дружков на гульбище сзывая.

А те дружки не слышат зова
и на скромное не падки,
учуяв голос Пугачева,
у них душа уходит в пятки.

А я средь ночи и тумана
иду один, неотреченный,
за головою атамана,
за той отчаянной и черной.

1967

«Не брат с сестрой, не с другом друг...»

Не брат с сестрой, не с другом друг,
без волшебства, без чуда,
живем с тобой, как все вокруг, –
ни хорошо, ни худо.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
еще смеемся: «Эка
беда!» – меж тем как наш недуг
совпал с бедою века.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
а с женщиной мужчина,
мы сходим в ад за кругом круг,
и в этом вся причина.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
и что ни шаг – то в бездну, –
и хоть на плаху, но из рук,
в которых не воскресну.

«Уходит в ночь мой траурный трамвай...»

Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, и потому давай
простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоем,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворен
не Богом?

При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня.
А толку?

Я сам себе растлитель и злодей
и стыд и боль как должное приемлю
за то, что все придумывал – людей
и землю.

А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись, не любя,

не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.

1967

«И вижу зло, и слышу плач...»

И вижу зло, и слышу плач,
и убегая, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.

Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от Божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.

Во сне вину мою несую
и – сам отступник и злодей –
безлистным деревом в лесу
жалею и боюсь людей.

Меня сечет Господня плеть,
и под ярмом горбится плоть, –
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.

И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

1968

«Тебя со мной попутал бес...»

Тебя со мной попутал бес
шататься зимней чашей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.

В нем снег от денного тепла
лежал, тяжел и лепок, —
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.

Мы шли по лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.

Дышал любимой на виски,
и молча гладил руки,
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.

Нам быть счастливыми нельзя,
а завтра будет хуже, —
и лишь древесные друзья
заглядывали в души.

Да с лаской снежная пыльца,
неладное почуяв,
касалась милого лица
и горьких поцелуев.

1967

«В январе на улицах вода...»

В январе на улицах вода,
темень с чадом.
Не увижу неба никогда
сердцем сжатым.

У меня из горла – не слова –
боли комья.
В жизни так еще не тосковал
ни по ком я.

Ты стоишь, как Золушка, в снегу,
ножки мочишь.
Улыбнись мне углышками губ,
если можешь.

В январе не разыскать следов.
Сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь,
камнем в омут.

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени.

Упаду на них горячим лбом.

Ох, как больно!

Вся земля – не как родильный дом,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.